



В. Клепачев

Виктор Платонович

Некрасов

Виктория

Виктория было самое ненавистное для меня имя. Хоть сам я Виктор. – Я не понимаю, я отказываюсь понимать. В твоём возрасте я уже прочитал всего Толстого, мы увлекались Писаревым. А тебя, кроме каких-то там «Двадцати тысяч верст под водой», ничего не интересует. Поражаюсь.

– Не верст, а лье, – поправлял я.

– А, Господи, какое это имеет значение, – начинала кипятиться тетка, не терпевшая возражений. – Тебе уже четырнадцать лет. В твоём возрасте у нормального человека складывается определенное мировоззрение. Наше поколение зачитывалось Боклем, спорило, прав ли Белинский, осуждая Гоголя, а вы, дальше своего Жюль Верна и Майн-Рида...

– Прости, но я читаю сейчас Луи Буссенара, а не Майн-Рида... «Капитан Сорви-Голова».

– Вы слышите, он читает Луи Буссенара! Да кто он такой? Вы слышали когда-нибудь о таком? Я – отродясь. И вообще, Зина, я просто поражаюсь тебе. Можно подумать, это не твой сын. На твоих глазах растет балбес, неуч, забивающий себе мозги всякой чепухой, а тебе хоть бы что. И это в нашей-то семье... Мать пыталась возражать. – Всему свое время, милая Соня. Дойдет и до Толстого, не торопи.

– То есть как это, не торопи. Время-то уже прошло. То самое, когда всякий культурный человек начинает формироваться, когда от того, что он прочел, и именно в этом возрасте, мозги еще не забиты всякой ерундой, зависит, может быть, еще будущее... Я не нахожу слов, просто не нахожу слов. Вчера, например... Не знает, чем заняться, раскладывает идиотские свои марки, я ему говорю, пойдём, я тебе почитаю Гамсуна «Викторию»,

вещь, над которой я в его годы плакала, так это прекрасно, а он мне, видите ли, говорит, что ему еще какое-то обществоведение надо готовить... Слово-то какое... На человеческом языке это называлось всю жизнь историей, а теперь придумали какое-то обще-ство-ве-де-ние. Не выговорить.

– Пстой, пстой, – перебивала на этот раз бабушка, добрая и миролюбивая, больше всего в жизни боявшаяся семейных ссор. – Рано ему еще читать «Викторию». Он ничего не поймет. Это в семнадцать-восемнадцать лет... – И вообще, я не люблю про любовь, – вставлял я, зная, что за этим последует.

А следовало обычное – разгневанная тетка – «Я не могу больше этого слышать!» – покидала поле боя и хлопала дверью в свою комнату так, что сыпалась штукатурка.

У бабушки дрожали губы.

– Господи, какой характер, какой характер... Дай мне, Викочка, валерьянки, она там, на ночном столике.

Подобные сцены происходили чуть ли не ежедневно. Обычно за вечерним чаем. Присутствие гостей ничуть не мешало тетке чем-то возмущаться – предлогов хватало – неинтеллигентность нынешней молодежи, грубость управдома, тупая жестокость советской власти – подумать только, считающей себя марксистской, – нерадивость родного племянничка. Мама, по натуре человек веселый, а по мнению ее сестры, лишенная каких-либо принципов, пыталась возражать, гости, более или менее привыкшие к подобным сценам, в основном, помалкивали, бабушка тянулась за валерьянкой. Я же все больше и больше ненавидел Викторию, сына мельника, Гамсуна и вообще

всех взрослых, которые ничего не понимают... Сейчас, вспоминая те дальние дни, я понимаю, что тетя Соня по-своему очень любила меня. Проходя своим быстрым шагом за моим стулом у обеденного стола, она могла на ходу наклониться и чмокнуть своего строптивного племянника в шею, где-то пониже затылка. Но это не мешало ей с утра до вечера поучать его, требовать, чтоб убрал со стола локти и трагически вздыхать: «Просто не представляю себе, как ты с такими манерами будешь вести себя за табльдотом, окажись ты в Швейцарии». Эта перспектива не очень-то маячила впереди, не пугала, а локти, увы, я до сих пор со стола не убираю – неистребимый дух противоречия оказался удивительно стойким.

С возрастом моим тетка, человек строгих правил, все больше и больше осуждала племянника. «Подумайте, этот самовлюбленный эгоист едет во Владивосток, в какой-то идиотский театр, не думая совсем о маме, которая без него жить не может». Мама, то есть моя бабушка, действительно, души не чаяла в своем внуке. Умирая в оккупированном Киеве, все мечтала, чтоб Викочку взяли в плен: «Говорят, они кого-то отпускают, вот и пришел бы он к нам...»

Мое вступление в партию, хотя оно и произошло в Сталинграде, в разгар боев, тетя Соня не могла простить до самой смерти. «Какой ужас, – говорила она приходившим к ней старушкам. – Мой родной племянник оказался карьеристом. Ведь в стоящую у власти партию вступают только карьеристы». Переубедить ее было невозможно.

Но все это уже послевоенное. Тогда же, именно в отроческие годы, посеяно было то, что привело к последующим распрям.

И первым зерном была ненавистная мне Виктория и придумавший ее усатый писатель в крахмальном воротничке и пенсне, которого я так же тихо ненавидел.

* * *

Может и не в восемнадцать лет, как предсказывала бабушка, но в двадцать я уже был по уши влюблен в Гамсуна. Он стал нашим кумиром. Глубина, загадочность, недоговоренность. Хотелось быть лейтенантом Гланом. Мужественным, непонятым. И не понятым.

К тому же, мы были писателями.

Талантливыми писателями, может быть, даже на грани гениальности. Нас было трое: Сережа, Валерик и я. Все трое тайно вздыхали по Жене – немногословной, не улыбочливой, с челкой почти до самых глаз, а-ля Ли де Путти, и на наш взгляд, тоже полной загадок. Собирались мы у нее или у Сережи, у него была отдельная комната. У нее, впрочем тоже.

Принимала она нас полулежа на низкой тахте, лампочка была чем-то завешена, нужен был полумрак. Иногда приоткрывалась дверь, и руки ее матери – именно руки, лица мы никогда не видели – подавали поднос с чаем и печеньем.

У Сережи мы пили напитки покрепче.

Нет, в те годы питье не было главным развлечением, пили главным образом потому, что мужчинам положено пить. Этим мы хотели походить на других, в остальном же – ни в коем случае.

Оригинально! В наших устах это слыло высшей похвалой. Оригинальный проект, оригинальное решение... Но не только проекты наши должны были быть оригинальными – учились мы в строительном институте, будущие Корбюзье, не меньше, – но и преподносить их полагалось как-то по-особенному. Я как-то додумался начертить свой речной вокзал на оберточной бумаге, а Сережа – на оборотной стороне обоев. В этом состоял особый шик. Остальные корпят над листами ватмана, старательно отмывают тени, а мы, мол, плевали на внешнюю форму подачи, важна мысль, идея... Профессора только пожимали плечами. Это были относительно еще либеральные времена, говоря об искусстве. Еще не совершил свой губительный переворот конкурс на Дворец Советов, кубики на тонких ножках были еще в моде. В стране же либерализм давно кончился, шла сплошная коллективизация. Но это проходило как-то мимо.

Молодость, увлечения... Внешностью мы тоже отличались. Сережа ходил в длинном черном пальто с поднятым воротником, тогда еще так не ходили, Валерик в серой, с блестящими пуговицами гимназической шинели, очевидно, со старшего брата, я же щеголял в резиновых тапочках и шерстяных коричневых гетрах, привезенных бабушкой из Швейцарии. Сочетание их с защитного цвета юнгштурмовскими галифе было довольно странным, зато, как и требовалось, оригинальным, привлекавшим внимание.

Днем мы чертили свои гениальные проекты, вечером читали свои не менее гениальные произведения.

Сереежина комната, на Трехсвятительской, во дворе, на третьем этаже, тоже, конечно, не могла походить на обычные. Не только обои, но и пол был расписан в ярчайшие тона. Что-то под Кандинского, пятна, брызги, динамика, входившего встречал зеленый кот с задраннм хвостом, прямо на полу, масляной краской.

Мебели почти никакой. Гигантская продавленная тахта, пара колченогих стульев, этажерка с книгами – негритянское искусство, «Аполлон», конечно же, Гамсун, серо-зеленые томики приложения к «Вокруг света» с неким викингом, карабкающимся по дереву, на обложке. Посреди комнаты круглый черный стол, на нем медный подсвечник. Чтения происходили при свече, для таинственности. Достать свечи в те годы было не так-то просто, доставали у подозрительно поглядывающих на нас монашек Фроловского монастыря.

Собирались мы по четвергам. Для чтений.

У Вячеслава Иванова в его башне были среды, а у нас четверги. Зажигалась свеча. Пригубляли из единственного граненого стакана, закусывали сыром, который лежал и резался прямо на столе – тарелки мещанство! – и начиналось чтение. Курили, дым стелился пластами, окурки на пол – так, казалось нам, вели себя Модильяни с друзьями в его монмартрской мансарде.

Вечера эти назывались «Серапионовками». В честь ленинградских «Серапионовых братьев», которых мы все-таки считали писателями, в противовес всяким там Фурмановым, Неверовым и Серафимовичам. Их мы презирали и не читали. Дух Кнута Гамсуна, сурового северянина, витал над нашим черным столом. В стране

гнали один за другим эшелоны на восток, а мы жили в фиордах, шхерах, преклонялись перед сильными одиночками, противопоставляющими себя обществу.

Ирония и скепсис – главное оружие.

Ничего не принимай всерьез. Конечно, что поделаешь, нужно ходить на все эти диаматы, политэкономии, прорабатывать решения очередных, абсолютно нас не касающихся и не интересующих съездов, но относиться к ним серьезно?

– Содержание нагелевского футляра для скрипки, поверьте, меня интересует куда больше, чем резолюция последнего пленума, – лениво говорил Сережа, стреляя окурком в стену. – Как вы думаете, какие у Нагеля были кальсоны в этом футляре? Трикотажные?

– Не трикотажные, а егерские, – поправлял Валерик. – Именно так назывались они в те времена.

– Не знаю, как Нагель, но лейтенант Глан подштанников не носил, ручаюсь, – вставлял я, чтоб, упаси Бог, не выпасть из беседы. – Прости, но в чем же он тогда ходил? Трусы – изобретение двадцатых годов двадцатого столетия. Ты видел фотографию Станиславского на пляже в Сен-Мало? Купались в панталонах на пуговках, никаких трусов. В этом тоже была особая поза. Все мы знали, что Гамсун – великий писатель, но говорить об этом было «мовэ тон». Мы его боготворили, изо всех сил подражали, более или менее безуспешно, но вслух можно было говорить только о кальсонах Нагеля или о том, как обмочился в штаны герой романа «Голод». На серьезное – табу. Так же, как нельзя хвалить Микельанджело за Давида, Моисея или Сикстинскую капеллу.

Хвалить можно, даже должно, но, главным образом, за какие-нибудь необъяснимые отклонения. Мужеподобность его сивилл или женщин в «Рассвете» и «Сумерках» в капелле Медичи. – Больше всего люблю маленького усатого человечка на спине у Джулиано Медичи, – вяло ронял в беседу розовощекий наш Валерик. – В нем квинтэссенция юмора. И обнаружили его только, когда статую сняли для реставрации. Вот вам и загадка... И юмор.

Спор о нижнем белье гамсуновских героев мог перерасти в дискуссию о малевическом квадрате или о том, почему Брюсову так необходимо было, чтобы кто-то закрыл свои бледные ноги...

– Я не силен в поэзии, – цедил в этом случае сквозь зубы Сергей, – но если б это предложение относилось ко мне, я попросил бы уважаемого Валерия Яковлевича обнажить свои загорелые икры. В противном случае... – К барьеру?

– Возможно. Кстати, как советское законодательство относится к этому виду решения споров? Запрещены у нас дуэли или нет? Как выяснилось, специального указания по этому поводу нет, поэтому мы пришли к выводу, что в нашем маленьком содружестве разрешать споры при помощи поединков допускается. Женя милостиво одобрила этот проект, выразив, правда, некоторое недоумение – где мы достанем лепажи или рапиры, не на кулачках же драться.

О, золотые дни моей, нашей весны... Как просто все это теперь осудить. В какой ужас пришла бы тетя Соня, узнав, как мы профанируем ее любимого Гамсуна, над которым плакала она в свои четырнадцать лет. Что может подумать о нас нынешний советский зэк,

угодивший в лагерь за «чтение и распространение»? Что сказал бы Сахаров? Можно ли ему признаться?

Можно! Конечно же, можно. Ведь мальчишеский наш скепсис, ирония, «не принимай все всерьез» были единственным нашим оружием. Против оболванивания. Но где-то глубоко внутри, никому не показываемое, тщательно скрываемое, таилось другое – читая, уже повзрослев, «Викторию», ту самую, когда-то ненавистную, я ведь тоже чувствовал, как какой-то комок подступает к горлу. Но разве можно в этом признаться? Упаси Бог. Мы из другого теста. Распускать нюни, чему-то умиляться... В лучшем случае, можно криво усмехнуться. Но попадая в Москву, без всякой усмешки, затаив дыхание, упивались Иваром Карено-Качаловым – в те дни на Камергерском, во МХАТе, с неизменными аншлагами, шла пьеса Кнута Гамсуна «У врат царства».

«Из чего твой панцирь, черепаха?» – спросили как-то ее. «Из накопленного жизнью страха», – отвечает черепаха. А у нас он был из сарказма и иронии – негиббемого, на наш взгляд, оружия.

Возможно, оно нас и спасло. Но однажды Сережа, самый скептический и ироничный из нас, сказал мне то, о чем мы старались никогда не думать. Мы были вдвоем.

Кажется, на последнем курсе. Заканчивали конкурсный проект районного кинотеатра. «Серапионовка» наша распалась, возможно, просто надоело, но страсть к оригинальничанью не прошла – кинотеатр делался в стиле полинезийского бунгало. Всю ночь мы чертили, под утро устали, нашли где-то за тахтой четвертушку и распили ее.

И тут Сережа мне вдруг признался.

– Ты знаешь, Вика, иной раз мне хочется взять в руки винтовку и пойти на врага. И кричать «ура!». Не знаю, во имя чего. Во имя России? Но ее нет. И вообще, надоело над всем насмехаться, хочется что-то защищать. И кто же настоящий враг?

Через несколько лет один из ожидаемых врагов обнаружился. Сережа погиб на фронте. После него осталась жена, та самая Женя, но уже без челки, и дочка Ира, она выросла на моих глазах. Сейчас она больна, очень тяжело больна. – Но не будем, дядя Вика, говорить о болезнях, – сказала она мне по телефону из далекого Киева. – Это так скучно. Давайте поговорим лучше о папе. Вы знаете, я недавно обнаружила дом, построенный по его проекту. На Кругло-Университетской... И мы долго говорили о папе, о Сереже, том самом, который не знал, кто его враг.

В то памятное утро после бессонной ночи он сказал еще такое: – С утра до вечера твердят нам о каких-то идейных врагах, которые нас окружают. А Курач и Червовый кто, идейные друзья? Курач и Червоный, оба тоже из нашей среды, студенты, только помоложе, один был парторгом, другой профоргом института. За обоих проекты делали их однокурсники. Кое-кого из них позднее они без зазрения совести упекли в лагеря. Тогда об этой стороне их деятельности мы ничего не знали.

– Идейные друзья, вдохновители? А может, наоборот? Может, именно им надо всадить штык в брюхо?

Больше на эту тему никогда не говорили. Сергей погиб на фронте. Шальной осколок попал ему в брюшину. Курач после войны стал министром финансов СССР.

* * *

Мы чертовски устали. Еле держались на ногах. Прошли в этот день километров пятьдесят-шестьдесят, не меньше. К ночи пришли в какое-то село. Немца мы не видели, но он подпирал, подпирал. Иногда проносился над нами мессер. Бомб не кидал, но парочку очередей давал. Мы врассыпную бухались за обочиной мордой в землю. Я не помню точно, где это произошло. Очевидно, задолго до Дона, потому что со мной был еще мой саперный взвод. Определение не совсем точное, так как осталось от него человек семь-восемь. Потом и этих не стало. К Сталинграду я пришел один, бойцы оседали в деревнях, через которые мы проходили. «Где Сидоренко?». «А хрен его знает, должно к той бабе, что молоко нам давала, присох...»

Но тогда несколько человек у меня еще было. Пришли в село. Ткнулись в одну, другую хату, в третью. Набито битком.

Негде плюнуть. Лежат вповалку, впритирку, бульдозером не сдвинешь. Никак до сих пор не могу понять, почему мы с таким упорством, с такой настойчивостью искали хату. Лето было в разгаре, ни одного дождя, приземлись где-нибудь в рощице и дрыхни... Нет, обязательно хату. Рассчитывать на гостеприимство хозяев не приходилось, в хату набивалось по двадцать-тридцать человек, разве прокормишь. Да и вообще, население относилось к нам, скажем так, сдержанно. На Донбассе, в рабочем краю,

более приветливо, точнее, с большей жалостью, но чем ближе к Дону, тем суровее. Многие считали, да и до сих пор считают, что население ждало немцев. Не уверен, думаю, просто мы надоели. Через села проходили тысячи, и все хотели есть, все хотели спать. Уважение к нам как к защитникам давно уже растаяло.

– Товарищ старший лейтенант, сюда, сюда! Нашел!

Кричал Ахримец, помкомвзвода, веселый, разбитной, проныристый парень, который держался меня почти до самого Сталинграда. После Калача он растворился. Сейчас он бежал и махал руками.

– Сюда! Сюда! За мной идите. А то как навалят... Хата, которую он обнаружил где-то на окраине, отнюдь не была пуста. Но в ней, разметавшись на полу, валялось и храпело человек десять, не больше. Дух стоял нестерпимый. Окна, конечно, закрыты. – Давайте сюда, я вам тут местечко отвоевал, у окошка, – говорил Ахримец, шагая через солдат, бурчавших что-то во сне. – При желании и открыть его можно, комаров сегодня вроде нет. Бесцеремонно оттащив за ноги какого-то красноармейца, примостившегося было у окна, Ахримец бросил на пол мой вещмешок. – Смотрите, тут и книжечка для вас есть, забыл, очевидно, кто-то.

Он снял с подоконника книжку и протянул мне. Это был маленький, очень аккуратный томик в темно-зеленом сафьяновом переплете. Вроде молитвенничка, только потолще. Я раскрыл наугад.

«Сын мельника шел и думал. Когда он вырастет, он будет делать спички. Вот это ремесло опасное не на шутку: перепачкаешь пальцы серой, и ни один смельчак не решится протянуть тебе руку...» Я не верил глазам своим. Кнут Гамсун. Издание Гранстрем. 1912 г. СПб.

«Виктория», «Пан», «Смерть Глана», «Мистерии»...
Откуда? Кто? Почему?

– Кушать будете? – спросил Ахримец.

– Нет, нет. Иди, спи.

Я примостился на своем вещмешке, взял в руки книжку – начало уже светать – и тут же заснул.

Где я ее потерял, где оставил?

По-видимому, в Сталинграде, на Тракторном заводе. После знаменитой бомбежки 23 августа, превратившей город в груды развалин, нас, саперов, перекинули на Тракторный, готовить его к взрыву. (К слову, массированный этот налет знаменит еще и тем, что великий Эйзенштейн посвятил одну из своих лекций во ВГИКе разбору нескольких страниц из моей книги, где рассказывалось об этом налете.

Разбор, на мой взгляд, глубоко ошибочный и все же для меня лестный. Но это так, попутно). Сафьяновый томик, судя по всему, я впопыхах забыл в нашей щели недалеко от ТЭЦ. К концу сентября мы, взрывники, получили приказ срочно переправиться на левый берег, а через два дня оказались опять на правом, получив назначения в полки. И там, развязав вещмешок, я не обнаружил книжки. По-видимому, забыл-таки на Тракторном.

По-моему, я выучил ее наизусть.

Свободного времени было предостаточно. Немцы окружали нас, но вперед не рвались. Бои шли на «Красном Октябре», «Баррикадах», на Мамаевом кургане. У нас было тихо. Фрицы вяло постреливали из минометов, косяки самолетов, минуя нас, бомбили центр

и заводы. Дни стояли ясные, прозрачные. Под генераторами ТЭЦ и на станции масляных переключателей лежали мешки с аммонитом, от них шли провода в нашу щель, и только приказ, так и не пришедший, мог заставить нас включить маленький рубильник у входа, и все взлетело бы на воздух. Но приказ так и не пришел, а мы, в ожидании его, бездельничали, загорали, глушили в Волге рыбу, клеили целлулоидные портсигары, невероятное количество целлулоидных листов валялось почему-то в двух шагах от нашей щели.

А я читал.

...Но молодые господа посмотрели на Юханнеса с удивлением. Как же это он бросил лодку? Ему ж поручено было ее стеречь. – Ты отвечаешь мне за лодку, – заявил Отто. – Хотите, я покажу вам малинник, – предложил Юханнес. Пауза.

Только Виктория спросила:

– Малинник, а где он?

Но Отто сказал:

– Сейчас нам некогда.

Сын мельника сказал:

– И еще я знаю, где можно набрать ракушки. Они лежат на белом песчаном дне далеко от берега. Надо отплыть на лодке и потом прыгнуть. Отто фыркнул.

– Тоже водолаз нашелся, нечего сказать! Юханнес тяжело перевел дух.

– Хотите, я заберусь на вон ту скалу и сброшу вниз большой валун? – предложил он.

– Зачем?

– Просто так. А вы будете смотреть...

Серия мин прекращает мое чтение. Но через пять минут я опять читаю. Помню довольно горячий спор где-то на коктебельском пляже о том, что больше привлекает читателя в книге. Знакомое, твое, где ты можешь сравнивать или, наоборот, чужое, далекое, неизведанное. И тогда Владимир Борисович – был такой замечательный человек, критик – сказал:

– Все зависит от того, в каких условиях ты читаешь. Измотанной советской женщине, простоявшей три часа в очереди, хочется читать про королеву Марго, парикмахерше или маникюрше – «Сагу о Форсайтах», правда, не читать, а смотреть в телевизор, помните, что тогда творилось? Молодому советскому поколению меньше всего про себя, там врут, хочется снегов Килиманджаро. – А Аксенов? – спросил кто-то. – Это те же снега. Хемингуэй, Хемингуэй... Далекий, как созвездие Веги. А я люблю про войну, вероятно, потому, что никогда не нюхал пороху.

И тут я заговорил о Гамсуне и Тракторном, о предсмертном письме «Виктории», прерываемом свистом мин, о черном круглом столе со свечой на Трехсвятительской улице, о сафьяновом томике на подоконнике в донской станице. Как он туда попал? Кто его оставил? Может, Сережа? Встретил же я двумя или тремя неделями позже в Сталинграде Леню Серпилина, своего однокурсника. Однажды он был даже допущен на

нашу «Серапионовку». Мы знали, что он пишет стихи и, милостиво соизволив, разрешили прочесть их нам. Как ни странно, стихи нам понравились, но хвалу нашу приправили таким количеством перца, что растерянный Леня чуть не плакал. После войны он стал писателем, одно время редактировал украинскую «Литературную газету».

Загорая под нежарким, осенним волжским солнцем, я мысленно перебирал, кто же был этот лейтенант или капитан, таскавший в своем сидоре Гамсуна, не расстававшийся с ним даже в дни отступления и перед сном, с разбитыми в кровь ногами отправлявшийся в далекую Норвегию, в маленький полусонный городок на берегу моря. Только Сережа, никто другой. Валерика не было уже в живых. Любитель острых ощущений и всего недозволенного, он попробовал морфия и не проснулся. Это произошло, кажется, на третьем или четвертом курсе института. В ту же страшную ночь Сережа и Женя соединили свою жизнь навсегда. В войну, когда Сережа ушел на фронт, Женя пережила всю оккупацию, с больной матерью Лидией Васильевной и маленькой Иркочкой на руках. Но все это я узнал уже потом. И как Женя помогала моим, трем старым женщинам, бабушке, маме и тете Соне, как носила им картошку и мыла полы – воду таскать приходилось за два квартала, с Жиланской, там во дворе был кран. В холод, гололедицу. Веселые годы...

После ранения, оказавшись в Киеве, я, не без протекции Лидии Васильевны, известного в Киеве гинеколога, попал в Окружной военный госпиталь и часто, будучи ходячим, наведывался оттуда в большую их комнату в коммуналке на Саксаганского, 32. Потом, демобилизовавшись, зачастил. У них было тихо и уютно.

Примостившись в большом вольтеровском кресле у окна, я писал свой опус, или роман – так он в ту пору назывался – о войне. Писал на детских ученических тетрадях, которые с трудом, но можно было достать. Иногда отрывала их от себя маленькая Ирка. К моему творчеству она относилась серьезнее всех. «Тише, дядя Вика пишет своего Хемингуэя». Хемингуэй стал тогда нашим новым кумиром, сменившим, если не забытого, то отошедшего на задний план Гамсуна...

– Женя, а не было ли у вас с Сережей, – спросил я как-то у нее, – маленького такого томика в кожаном переплете с золотым обрезом? Рассказы Гамсуна?

Женя загадочно улыбнулась.

– Не помню. Кажется был...

Но нет, тот лейтенант, что забыл книжечку на подоконнике, не мог быть Сережей. Сережа не отступал от Харькова, он воевал на другом фронте. Кажется, Калининском.

* * *

Дом был заперт. Мы обошли его со всех сторон, ища кого-нибудь, кто мог бы нам его открыть и поводить по комнатам, но никого не было. – Ну и Бог с ним, – сказал Микола, мой друг. – Говорят, он не очень любил этот дом, работал, а иной раз и ночевал в своей хибарке, она там, в глубине, в чаще.

Мы еще раз обошли дом, заглядывая в окна. Чистота и порядок в нем были идеальные. Паркет

блестел, и множество столиков, этажерок и мебель в чехлах отражались в нем, как в зеркале. На стенах висели картины, но трудно было разобрать, что на них изображено. Во всяком случае, ничего абстрактного. Поражали своими размерами люстры с хрустальными подвесками. – Это стиль норвежской буржуазии, – пояснил Микола. – Не его стиль, поверь мне.

В этом доме жил Кнут Гамсун. Здесь провел последние свои годы, здесь и умер. Вокруг расстился запущенный сад, переходящий в нечто вроде леса, вернее – опушки леса. Недалеко от поместья протекала речка, а, может быть, не речка, а очень извилистый, глубокий залив.

К берегу прилепились шаткие деревянные мостки, на них старик любил сидеть часами и удить рыбу. – А кто здесь сейчас живет? – спросил я. – Живут или не живут, не знаю. Возможно, заезжают летом на какое-то время, но принадлежит дом сыну Гамсуна. Думаю, нам повезло, что мы его не застали. Он был гитлеровским летчиком, награжден даже Железным крестом.

Я этого не знал. Так же, как и всех деталей трагической судьбы Гамсуна. А она, действительно, была трагична.

Он симпатизировал Гитлеру.

Коллаборантом, по-видимому, не был, но в нацистской идеологии ему что-то импонировало – то ли воспеваемая ею сила, мужественность, окопное братство, то ли все, связанное с Нибелунгами, нордическими легендами. В оккупированной сопротивляющейся Норвегии подобное поведение считалось

предательством. После войны Гамсуна судили. На какое-то время заточили в психиатрическую лечебницу.

Потом помиловали, и последние годы он провел в этом самом имени. Здесь и работал над последней своей книгой, девяностолетним стариком. Я слышал, что это лучшее из всего им написанного. Какое-то подведение итогов и рассказ о самых тяжелых днях его жизни. К сожалению, я не читал этой книги, хотя она у меня есть, но, увы, по-норвежски. Приятельница же моя, которой я подарил такую же, хорошо знающая скандинавские языки, так и не удосужилась ее прочесть. При следующей встрече я сделаю ей строгий выговор.

Мы ткнулись, для очистки совести, в какую-то пристройку, опять никого не обнаружили и пошли искать хижину Гамсуна.

Это оказалась маленькая дощатая хибарка с лесенкой в четыре ступеньки.

Говорят, он смастерил ее собственными руками. Став на цыпочки, мы заглянули в окошко. Внутри оказалась более чем спартанская обстановка. Простой деревянный стол, стул, этажерка с книгами, очевидно, любимыми (большое количество других, надо думать, менее любимых, заполняло массивные книжные шкафы в большом доме).

На столе стояла очень обыкновенная чернильница, рядом перо, в вазочке несколько карандашей. Тут же лежало пенсне, знаменитое гамсуновское пенсне.

Для кого все это сохранялось? Для друзей, знакомых или, застань мы кого-нибудь, нас за известную плату впустили бы внутрь и рассказали бы – вот здесь он писал свою последнюю книгу, печальную лебединую песнь,

писал обычным пером, не признавал авторучек. А здесь, в большом доме, любил сидеть на этом диване и слушать, как ему играют на рояле Грига. А может, не Грига, а вовсе Вагнера, у Вагнера, оказывается, были фортепьянные пьесы.

Мы посидели немного на покосившихся ступеньках. Думали о проходящей славе, «Sic transit gloria mundi». Впрочем, слава Гамсуна не прошла. Только омрачилась, тяжело омрачилась. В Советском Союзе он долго был запрещен, не издавался. Возвратом своим и послевоенным переизданием обязан Илье Эренбургу. Перед смертью он сделал много хорошего – кроме Гамсуна, вернул нам и Пикассо. Пикассо был коммунистом, но в Союз приезжать не хотел. Боялся разочароваться. Не без основания. В Союзе его не жаловали. Гениальный художник считался всего-навсего формалистом. Что в искусстве равносильно было понятию «враг народа». Естественно, что в музей таких не пускали. Юбилейная выставка в Москве своим появлением обязана целиком Эренбургу. В очереди простоять надо было не меньше часа.

Уезжая, мы прошли мимо могилы Гамсуна.

На ней высился небольшой бронзовый бюст, печальный, задумчивый. Я сорвал несколько полевых цветочков и положил на могилу. На могилу великого писателя, склонившего свою седую голову перед преступником. Я до сих пор не могу понять, как этот маленький, с противной круглой спиной человечек, в идиотской, надвинутой на уши фуражке, с беспокойными руками, поминутно вдергивающий мундир, как мог он вызвать такое преклонение? Чем он покориł людей?

Экзальтацией, какой-то магической силой, о которой говорят те, кто его слышали? Я много раз видел его на экране. Выступающим с трибуны, на военных парадах, на эффектно срежиссированных Альбертом Шпеером спектаклях нюрнбергского стадиона, медленно идущим по широкому проходу между тысяч восторженных и самозабвенно кричащих партайгеноссе, штурмбанфюреров, обезумевших, влюбленных в фюрера юнцов... Но человек, написавший «Викторию» и «Мистерии» не был ни тем, ни другим, ни третьим, но вот тоже преклонил колена...

Как-то я встретился с бывшим советским военнопленным. В плен он попал где-то под Петсамо. Сначала сидел в лагере, потом работал, по его словам, батраком у Гамсуна, то ли в этом поместье, то ли в другом. Рассказывал, что иногда, по воскресеньям, Гамсун собирал их у себя и читал свои рассказы. Никто ничего не понимал, но было тихо и спокойно. Вообще рассказчик мой на плен не жаловался, воспоминания о последовавшем советском лагере были куда менее идиллическими.

Я прожил тот раз в Норвегии около месяца. Был гостем Миколы Радейко, популярного и уважаемого в Осло врача, украинца по происхождению, бежавшего из-под Львова сначала от немцев, потом от советской власти. В Норвегии прижился, потом полюбил ее. Когда я гощу у него, мы всегда говорим по-украински. В тот раз я жил в маленьком его домике в Лисебу. Это километрах в ста на юг от Осло.

Домик вроде как в лесу, среди холмов. Совсем неподалеку озеро, лодочка. По ночам меня навещали лисы. Утром я обнаруживал их следы, опрокинутое ведро

с остатками моих трапез. Жил я один, работал. Холодильник всегда полон, никаких забот. Библиотека, книги, в основном, норвежские, но встречались и украинские.

Роясь в них, я нашел кое-что и интересное. Про Леся Курбаса, Павла Тычину. В двадцатые годы Курбас считался интереснейшим, самым знаменитым украинским режиссером. Левого, конечно, толка. Его посадили, и больше никогда никто его не видел. Тычина был поэтом. Тоже знаменитым. Я не знал его ранних стихов.

Прочитав, понял, что люди, говорившие мне о нем как о гениальном поэте, может быть, несколько и преувеличивали, но поэтом он был настоящим. Советская власть сломила его. Он стал академиком, министром и всеобщим посмешищем... Я немного знал его. На всю жизнь он остался каким-то перепуганным, озирающимся. Говорят, когда-то он написал стихи, приветствующие Петлюру. На этом его и загребли, и до смерти своей он искупал свою вину.

Две горестные судьбы. Двух больших писателей. Оба споткнулись, столкнувшись с властью. Один поверил в ее силу, другой испугался и подчинился. Одного за это судили, другого вознесли. Чья судьба трагичнее? Один все же остался писателем, другой перестал им быть...

Прощаясь с покосившейся, сиротливой хижинкой, у окошка я подобрал маленький камешек с ее ступенек. Он лежит у меня на полке возле книги воспоминаний жены Гамсуна о своем муже. На обложке рядышком старичок и старушка. Он седобородый, совсем не похожий ни на Нагеля, ни на лейтенанта Глана, ни на самого себя, каким был в годы, когда считался одним из самых

знаменитых писателей в мире. Уютный старичок с большой седой бородой.

* * *

Вермонт чем-то похож на Норвегию. Не северную, с ее шхерами и фиордами, а южную, там, где «ухо» скандинавской собаки. Так же малоллюдно, такие же поросшие лесом холмы, озера, пожалуй, только сосен и елей в Норвегии побольше. Такие же разбросанные по взгорьям деревянные домики с обязательными флагштоками, разница только в центре – в Вермонте светлые, беленькие, в Норвегии коричневые, темно-бордовые. Впрочем, дом моего Миколы, в котором я жил, был беленький.

Той осенью я жил совсем один. К концу недели приезжал Микола на своей машине из Осло, загружал холодильник, потом мы совершали небольшой вояж вдоль побережья, перекусывали в каком-нибудь рыбацком кабачке, и он катил обратно. До следующей субботы я превращался опять в отшельника. Вечером бродил по лесным тропинкам или лениво хлопал веслами по пустынному озеру, пугая диких уток.

Здесь, в Вермонте, я считаюсь профессором. Три раза в неделю, по понедельникам, средам и пятницам, я читаю лекции так называемым аспирантам. Их всего семь: шесть мальчиков и одна девочка. Очень внимательно меня слушают, но вопросами не засыпают. То ли застенчивые, то ли не знаю что. А в общем, славные ребята. Все ли они понимают, что я им говорю?

Рассказываю о Маяковском, я прочитал три любимых моих стихотворения: «Хорошее отношение к лошадям», «Скрипка и немножко нервно», «Военно-морская любовь» – про миноносец и миноносочку. Когда-то я их читал с эстрады. Сорок с чем-то лет спустя, впервые, с тех пор, прочтя их вслух, я спросил милых моих американцев:

– Ну как?

Молчание.

– Не поняли?

– Да.

– Что да?

– То есть, нет.

– Не поняли, значит?

– Нет. То есть, да.

– Значит, поняли?

– Нет...

Зачем они учат этот, такой трудный для них язык? А их человек двести, никак не меньше, и немалые деньги платят веселые эти ребята, в меру шумные, всегда улыбающиеся, очень воспитанные. А вот учат, учат, сдают экзамены. Страшно любят слово «пожалуйста» – английское please, без которого у американцев не обходится ни одно предложение.

На утренний завтрак, к семи утра, я не хожу. Милые мои соседи Валерия Осиповна и Николай Всеволодович ходят, у них утренние лекции, я же ограничиваюсь грейпфрутом и чашечкой кофе у нас на кухоньке. И

засаживаюсь за работу. На крохотной верандочке, выходящей в садик.

Солнце пробивается сквозь листву, еще не жарко, что-то где-то чирикает, телефон в прихожей молчит – это тебе не парижский – твори себе и твори. Тут я расхожусь с Хемингуэем, он считал, что Париж самый подходящий город для работы. По-моему, хуже нет. Кроме августа, когда парижане уезжают на юг. Я остаюсь. Тогда и для работы Париж пригоден, безлюдный, без автомобильных пробок, с закрытыми магазинами, но все же с кафе, без них Париж не Париж.

Но сейчас Вермонт, Нортфилд – крохотный городок, только на очень подробных картах можно его обнаружить.

Беленькие домики с верандами, утопающие в зелени. На некоторых даты – 1851, 1854. Над входом фонарики. Медное кольцо вместо звонка. Газоны, их все время стригут, по воскресеньям сплошной стрекот машинок. Никаких заборов, загоронок.

В тени нежатся собаки, мохнатые или подстриженные, безмолвные – в Америке собаки вообще не лают. Вдоль главной, как во всех американских городишках, Мэйн-стрит три или четыре островерхие церквушки. Такие же беленькие, с флюгером на верхушке, там, где у французов обязательный петух. Тихо. Только листья шелестят на могучих вязах и кленах, у каждого дома высится такой гигант, а то и два, и три. А на горке – университет, Норвичский, тот самый, где учатся ребята – красные кирпичные корпуса и тоже часовенка с колючей колокольней.

И вот в эту тихую, устоявшуюся, скучноватую, очень полезную для работы жизнь вторглись друзья. Оба были

когда-то ленинградцами, сейчас рочестеряне – есть такой город Рочестер, в штате Нью-Йорк, миль триста от нашей обители.

Устроились они в гостинице, десять долларов в сутки, по-божески. Питаются в студенческой столовой. В свободное время мы колесим на их стареньком, помятом фордике по дорогам зеленого, уютного Вермонта. И занесло нас в нашем автобродяжничестве в совсем уже крохотный, еще меньше Нортфилда, Кавендиш. До последнего времени он ничем не был примечателен, сейчас знаменит – в нем живет самый крупный русский писатель.

– Хотите, я ему позвоню? – спросила приветливая хозяйка магазинчика, куда мы зашли купить какую-нибудь снедь, а заодно и фотопленку. – Нет, нет, – сказали мы. – Он не любит, когда ему мешают работать. А работает он с утра до вечера. – Зачем же вы тогда приехали? – удивилась хозяйка. – Просто любим кататься, – сказал я. – И вообще, нет ничего ненавистнее телефонного звонка во время работы. Мы купили соленого с сыром печенья Риц, несколько открыток, фотопленку «Кодак» (нет той дыры на земном шаре, где не лежали бы на полках любой лавчонки эти маленькие желтенькие коробочки, кроме одной шестой части этого же земного шара – там они на вес золота) и поехали вверх по проселочной дороге.

Миновав мостик и красную ферму слева, мы проехали еще с полмили, пока не достигли густых зарослей, обнесенных легкой сетчатой загородкой. За ней и живет писатель. Дома мы так и не увидели, заросли густые, пуща. Проехали мимо ворот с какими-то непонятными устройствами, то ли фотоэлементами, то ли

чем-то спрашивающим «кто там?», и повернули назад. Проезжая мимо заброшенного кладбища, решили сделать привал.

Я люблю кладбища. Не Новодевичье, с гранитными генералами при всех орденах, не скучные, безликие французские, а покосившиеся кресты русских погостов и, как выяснилось, здешние, с замшелыми плитами. Тут они вертикальные, без всяких холмиков. На некоторых маленьких звезднополосатый флажок, военный, значит.

Мы поставили машину в тень и растянулись на травке. Вечерело. Над головой пробежали тучки небесные, вечные странницы. Жара спала. Ветерок.

Кладбище располагает к размышлениям. О великом, вечном, о судьбах. – Суета сует, – сказал кто-то из нас после затянувшегося молчания. – Суета сует и всяческая суета. – И томление духа, – добавил другой. – И еще сказал Екклесиаст, – это я уже блеснул эрудицией, – что и мудрого не будут помнить вечно, как и глупого. Все будет забыто и, увы, мудрый умирает наравне с глупым. – А себя вы к какой категории причисляете, Виктор Платонович?

– Считаю вопрос неуместным и оскорбительным. Пропускаю его мимо ушей. Ибо видел я все дела, какие делаются под солнцем и понял, что Екклесиаст ошибается. Ибо о смехе он позволил себе сказать «глупость», а о веселии «что оно делает?».

Моя мама была веселой. Она тоже видела все дела, которые делаются под солнцем и осталась веселой. До последних своих дней. И когда я куда-нибудь уходил, всегда говорила: «Веселись, Викочка». Даже, когда шел

на партсобрание. И я, по мере сил, всю жизнь пытался веселиться, даже на партсобрании.

– Не зря ваша мама сказала вам как-то:

«Главное, не будь, Викочка, благоразумным». Вот и вырастила легкомысленного.

– Мудрый человек, живущий и пишущий в полумиле от нас, тоже так считает. А я не обижаюсь. Ибо я не менее мудрый, хотя и легкомысленный.

– От скромности не умрете, Виктор Платонович.

– А я вообще о смерти не думаю. Даже на кладбище. И в Сталинграде не думал, поверьте мне, хотя она была вокруг.

– Преувеличиваете.

– Нет. Мы к ней привыкли. Она была повседневностью. И у веселого нашего Беньяша, на его КП первого батальона, перед заданием устраивались вечера самодеятельности. Пели, танцевали и было очень весело. В Сталинграде мои собеседники не воевали, но Светлана все же была одним из редакторов фильма о Сталинграде «Солдаты», а в нем встречалась не только смерть, но и улыбка, шутка. Без них мы бы не выиграли этой страшной битвы. Это один из ответов на вопрос – как вы победили?

– Пожалуй, и в лагерях это многих спасало, – сказал Светланин муж. – Думаю, что да. Но я там не был. Спросите у человека знающего, он тут рядом, недалеко ходить. Все засмеялись.

Заговорили об Иване Денисовиче. И я вспомнил, как в далекой Австралии года три тому назад, в Сиднее, в университете, в ожидании, пока соберутся студенты,

очень приветливый, немного застенчивый профессор Ульман, в прошлом тоже ленинградец, сказал мне: – Вы, вероятно, забыли, а я хорошо помню, как мы с вами познакомились. Это было давно, лет двадцать прошло. Я ехал из Полтавы, занимался там Короленко, и решил на обратном пути сделать крюк, заехать в Киев. Зашел к вам, почему-то без звонка. Вы тут же помчались в «Гастроном» и весь вечер могли говорить только об одном, о рождении нового гениального писателя. Вы вчера вернулись из Москвы, где Твардовский вам дал почитать некую рукопись. «Потрясающе! – кричали вы. – Бомба! такого еще не было! Трифоныч никому слова не дает вымолвить, читает вслух. Фамилия? Да вы ее никогда не запомните. Но через год, помяните мои слова, даже раньше, она будет у всех на устах. Во всем мире...»

Да, в те дни мы ни о чем другом говорить не могли. Потом я познакомился с автором. Особенно близкими друзьями мы не стали, но в Москве иногда встречались. А как-то по дороге на юг он заезжал даже ко мне, в Киев. Последний раз виделись, когда он не носил еще бороды или только начинал отращивать скандинавско-шкиперскую с пробритой верхней губой. Мы сидели втроем на лавочке в скверике возле редакции «Нового мира». Твардовскому надо было ехать в Ленинград на конференцию некоего Европейского сообщества писателей, и ему ужасно не хотелось. – Поезжайте со мной, очень мне облегчите, – просил он Исаича. – Этого типа уже не пускают, проштрафился, – он указал на меня. – Что мне там делать одному, горемычному?

Не с кем даже перемигнуться. Исаич наотказ отказался, не любит он эти сборища. Нет-нет, и не просите.

– Ну, тогда надо горло промочить, – как-то жалобно промолвил Трифоныч и стал озираться в поисках подходящей «точки». – А вон киоск с водой, – сказал Исаич. Мы с Трифонычем горько вздохнули: темнота... Ох, и не любит Исаич этого дела. Как-то он мне сказал:

– Виктор, ты должен в шесть раз меньше пить! – Почему в шесть? – естественный вопрос. – Может, в пять разрешишь?

– Брось эти шутки, – он начал сердиться. – Будто ты не видишь, что творится вокруг... Страна спилась... И ты, и Твардовский... Вы забываете, что вы писатели... Что я мог возразить?

Ничего. Прав, конечно. Но завета его на счет шести раз, каюсь, так и не выполнил, остановился где-то на трех.

Как давно все это было. Твардовский ходил еще в маститых, на конференцию все же поехал, и не только в Ленинград, но и в Гагры, к Хрущеву, где читал своего «Теркина на том свете». Счастливые времена... Зря мы тогда над Никитой издевались, кукурузник, мол, клоун.

Кое-что хорошее он все же сделал, и в списке его благодеяний «Иван Денисович» не на последнем месте. Потом Твардовского прогнали из «Нового мира». И хотя попадают там и сейчас не всегда плохие вещи, нет уже линии, нет лица, хлынули туда те, кого Твардовский и на порог не пускал. Вскоре он умер, осиротел наш Парнас. Потом стали изгонять писателей. Одного за другим. И рассеялись они по белу свету. Америка, Франция, Англия,

Германия, Израиль... Одного я обнаружил даже на Гавайских островах, не самого великого, но все же русского.

И вот один из этих изгнанников, автор той самой бомбы, о которой я кричал весь вечер оглушенному мною профессору Ульману двадцать лет тому назад, сейчас где-то в полутора минутах езды от нас.

Сидит и пишет. Подобно Гамсуну, в маленьком отдельном домике. Так говорят. И никто его не видит. И он никого. Пишет...

Однажды он спросил меня – застряли в памяти эти мелочи – каким видом транспорта я пользуюсь: поездом или самолетом?

– Конечно, самолет, – без запинки ответил я. – Вечно же торопимся. – И напрасно. В самолете не успеешь обернуться, как уже прилетел. А в поезде и поговорить можно, с интересными людьми познакомиться...

– С майором, например, тут же пол-литра вытащит. Исаич не подхватил шутки. Не помню уже, рассказал ли я ему тогда историю, которую любила вспоминать моя тетка. В незапамятные времена жила она в Англии, у Черткова, ближайшего друга и последователя Льва Толстого. Так вот, Чертков, будучи толстовцем, не мог позволить себе ездить в первом классе. Только в третьем. Но – маленькая деталь – когда ездил, покупал не один билет для себя, а целый вагон. Ленинградцы мои рассмеялись и решили, что Толстой так бы не сделал. И мы заговорили о Толстом. О «Войне и мире», которую я недавно перечитал и окончательно пришел к выводу, что это лучшее из того, что было когда-либо написано. Даже лучше Екклесиаста. Мы опять рассмеялись. И еще многое

вспоминали мы в тот тихий, предзакатный час, лежа на травке среди чужих могильных плит. О жизни, о судьбах, об Америке, в которую так по-разному занесла нас нелегкая.

Я мало знаю Америку. Она большая. И, говорят, очень разная. Я повесил на стенку карту Соединенных Штатов. По утрам, не вставши еще, и по вечерам, перед сном, «разучиваю» штаты. Самый большой, внизу, Техас, по ихнему, Тексас; самый маленький, совсем крошечный, на севере, Род-Айленд. Знаю уже, где Оклахома, Невада, Небраска, Алабама, в Калифорнии я даже побывал. Очень хочется пересечь всю Америку на марктвенковском двухтрубном шлепающим колесами пароходе – говорят, они еще есть, – по Миссисипи, сверху донизу. Хочется в Гранд-Кэньон... Но сейчас я в Вермонте, в одном из самых маленьких штатов, говорят, самом бедном. Понятие, более чем относительное, особенно для нас, русских. И успел уже влюбиться в него. В его холмы, пустынные дороги, «хайвэй», даже в нелепый климат – то дикая жара, обливаешься с головы до ног потом, и тут же вдруг заморосит дождик, а ночью надо теплым одеялом укрываться, Николай Всеволодович иногда даже отопление включает.

А люди?

Устроили как-то студенты вечер самодеятельности, вечер талантов по-ихнему. И когда три милых американских девушки, одна из них негритяночка, негромко, стесняясь, запели вдруг Окуджаву, песенку про Арбат, я почувствовал, что со мной что-то происходит. Нет, я не всплакнул, но почти, был на грани. Потом маленькая итальяночка в красной юбке и совсем не русском, скорее тирольском, веночке на голове,

танцевала не то «барыню», не то трепака и тут же делала кульбиты, и я опять был на грани.

Затем ребята в джинсах и в маечках с надписями, которые очень осуждает «Комсомольская правда», пели «Среди долины ровныя...». И опять умиляюсь. И вспоминаю сталинградскую самодеятельность, Беньяша...

Как ни странно, но американцы именно умиляют меня. То ли простотой, то ли доброжелательностью, то ли инфантильностью своей. Поехали мы с моими ленинградцами в некий Стимтаун.

Вычитал я в проспекте, что там музей паровозов. Тех самых, по которым тоскует душа – гудящих (разве электрички так гудят?), пытящих, дымящих. Оказалось, их там очень много – вроде резервации, – печально вспоминающих свою былую славу.

Не наших, правда, но тоже знакомых, по всяким вестернам – знаменитые «пасифики», с обязательным колоколом, острым спереди коровоотбрасывателем, с ярким фонарем не у трубы, а на брюхе. Стоял там и грустил знаменитый «Биг бой» – «Здоровый парень», колес не счесть и длиной с версту.

Но главное оказалось не это. Главное оказалось, что, купив билет, ты можешь сесть в вагон, и тот самый «энджин» (машина), который недавно еще гонял по какой-нибудь Охайо-Балтимора-Рэйрод, пытя и отдуваясь, заливаясь тем самым гудком, который возвращает тебя в детство, раскачиваясь, стуча на стыках, помчит тебя среди холмов, по железным мостам через каменистые речки в какой-то неведомый Честер, а потом обратно.

Полтора часа твоего детства, отрочества и юности. Даже лучше. Тогда я мог только мечтать оказаться в будке машиниста. А тут не только разрешили, а с радостью, с веселыми улыбками, и машинист и кочегар обнялись перед моим фотоаппаратом. И седобородый, в форменной фуражке, начальник поезда, и молодой, улыбочивый, с усиками парнишка-проводник, разносящий заодно напитки с такой же готовностью. И всем почему-то было весело. И каждый раз, проверяя билеты – туда и обратно – кондуктор с самым серьезным видом говорил, что сейчас остановит поезд и высадит безбилетную пассажирку, пятнадцатилетнюю Габриэлу, специально прикомандированную к нам: увидели, что мы русские.

...Приехал к нам цирк-шапито. Привезли слона, маленьких пони, собачек. Все они бегали, прыгали, танцевали, становились зачем-то на колени, даже слон с трудом это сделал и было обидно за него, ему магарадж возить, а он перед нами унижается, кланяется. Пожалуй, только это огорчило, остальное же веселило, опять окунало в детство – и старый, морщинистый клоун с красным носом, и не ахти какие жонглеры, и крутящиеся на трапециях девицы в блестках – Куприн, Куприн! И восторженная зависть детишек, рассевшихся на скамейках, и их папаш и мамаш, что-то жующих и пьющих, и шагающих между ними два парня с подносами, на которых пакеты с кукурузными хлопьями, и полицейский в каких-то бляхах и застезжках, подошедший к нам и сказавший с милой улыбкой, что пиво можно, конечно, пить, но только завернув банку в кулек (?) – все это меня только радовало и умиляло.

Ребячество, инфантильность? Пусть! Насколько все это симпатичнее нашего вечного «нельзя»! Сорить, курить, ходить в шортах! Все здесь бросалось на землю – салфетки, стаканчики, кульки – а наутро, когда цирк, со всеми своими слонами и собачками в огромных грузовиках-трейлерах, уехал веселить других ребятишек и их папаш, все было аккуратно подметено, как будто и не было тут никаких киосков, тиров, каруселей, веселой, разношерстной толпы.

В то же утро – это был праздник, День Независимости, – на главной нашей Мэйн-стрит, возле беленькой методистской церкви состоялся аукцион. Тоже зрелище. Я две пленки израсходовал. В дикую жару, обливаясь потом, под тентом, под зонтиками, в собственных, привезенных шезлонгах, не меньше сотни молодых, пожилых и очень даже пожилых людей обоего пола интересовались и волокли потом в свои длиннющие лимузины какие-то столики, этажерки, торшеры, старые телевизоры, а один парень, надрываясь, тащил пятипудовую, не меньше, гирию... А аукционер, живописнейший, подтянутый старик в ковбойской шляпе, плюя на жару, бодро выкрикивал непонятные мне слова, тыкал пальцем во все стороны, пока палец этот не застывал на какой-нибудь весьма пожилой даме с голубым перманентом и в розовых штанах, захотевшей приобрести четыре картины с якобы швейцарским пейзажем, гипсовый бюст Линкольна, утюг и кофейную мельницу. А подбежавший тут же вихрастый веснущатый внук погрузил всю эту рухлядь в сверкающий никелем «Шевроле»...

И почему этих людей – таких приветливых, симпатичных, доброжелательных, пусть иногда смешных – почему их так не любят? Во Франции, в частности. «Ами гоу хоум!» Американцы, убирайтесь домой! Сколько таких надписей видел я в Париже, и в Бонне, и в тихом, с колокольным перезвоном, Ассизи святого Франциска – там, на холме, у седых стен средневекового замка, соорудили даже какие-то гигантские щиты с изображением черепа в американской каске. Почему?

Ведь американцы всем помогают, всех содержат, кормят, даже недругов своих (белый, как вата, хлеб и какао знаменитой благотворительной АРА, подкармливавшей нас, полуголодных детей двадцатых годов и послевоенная незабвенная свинотушенка, а до этого танки «Шерман», «Аэрокобры», «Студебеккеры»...) И не только кормят, а и кровь проливают, американские танки первыми пошли в Париж. Вспоминают сейчас Хиросиму, можно было, мол, и без нее обойтись, осуждают за Сальвадор, и о лэндлизе, о потопленных конвойных судах, о погибших за тридевять земель от своих оклахомских или вермонтских жилищ американских парнях забывают. А ведь они не только свою, но и нашу хату защищали в джунглях островов Индийского и Тихого океана. Не только мстили за Пирл-Харбор, нам помогали. В Сталинграде мы питались все той же свинотушенкой и апельсинами из Калифорнии – да-да, было и такое! – а как-то даже доставили партию американских противопехотных мин, которые мы с опаской изучали, инструкцию где-то затеряли...

И вот ругают. «Гоу хоум!» Правда, не мы, не русские. Здешние, в том числе и трое на вермонтской

травке. Мы возмущались, огорчались, хвалили, забавлялись, вспоминая всякие милые мелочи.

Ругали только американскую почту – посылочка с забытой в Нью-Йорке записной книжкой шла целую неделю, подумать только! – и стрижку травы – это ужас! У американцев это мания, все время стригут. Вот и сейчас рычит эта чертова машина на соседнем участке, будь она проклята. Ну и признаюсь, включились во всеобщий хор русских, осуждающих американский безвкусный хлеб. То ли дело наш московский ржаной или пеклеванный, или арнаутка, а украинская паляница?

Остальное же все нравилось. Даже наши судьбы – расставались, казалось, навсегда, а вот и встретились, и где, в американской «глубинке», в Вермонте, о существовании которого я, например, узнал только когда поселился в нем писатель, которым мы гордимся.

Гордимся и в чем-то осуждаем.

Нет – «работа не волк, в лес не убежит» – не его девиз, знаем, но не лишает ли он себя многого, что так нужно не только писателю, но и человеку? И помогает жить. «В поезде и поговорить можно, с интересными людьми познакомиться...» А почему бы не воспользоваться здешним пыхтящим, где никаких майоров с поллитрой, а веселые проводники?

Послушать милых девочек, поющих Окуджаву и Новеллу Матвееву про штат Миссури, сходить на вечер, где американские ребята хлопают Науму Коржавину – он им почему-то понятнее Маяковского. Или вечером у «Папы Джона» посидеть, попить пивца с теми же ребятами, которых ты днем чему-то учил, рассказывал, как трудно и важно быть писателем в нашей стране. А сейчас за кружкой пива, закусывая остреньким

вермонтским сыром, понять, наконец, зачем же они учат русский язык. Да просто нравится им все русское. И может быть, не так Пушкин и Достоевский, который им интереснее, чем Толстой – «Но ей-Богу, „Войну и мир“ прочту!» – или судьба Пастернака, Мандельштама, и не выдержавших всего Есенина и Маяковского – а я им еще и про Фадеева и Шпаликова, таких разных – а то, что кто-то из них побывал уже в Москве, во многое, во многих влюбился, а многого, увы... Вот и объясняешь им про это второе многое...

(Я не читаю им лекции, я веду семинар. Это значит, что я могу им рассказывать все, что влезет в голову. И я рассказываю о том, чего нет в учебниках, ни советских, ни здешних, о писателях, с которыми встречался, хороших и плохих, талантливых и бездарных, пьющих и непьющих... Но об одном из них, очень хорошем, очень талантливом и очень пьющем, я им так и не рассказал. И не только потому, что я с ним никогда в жизни, увы, не встречался, а потому что понять, о чем он, этот хороший, талантливый и крепко пьющий писатель пишет, американский, и вообще западный, читатель не сможет никогда. Никогда! Я говорю о Веничке Ерофееве, авторе одной только книги «Москва-Петушки», возможно, одной из самых глубоких и трагических книг современности. О! Как юмор бывает и глубок, и трагичен!)

И все это, оказывается, им интересно, моим двадцати-двадцатидвухлетним ребятам, у которых отцы богачи, а у других – нет. Но глядя на них никак не поймешь, кто чей отпрыск – одинаковые. И разные!

Натан Лонген, из Миннесоты (детство – Африка, отрочество – Новая Зеландия, затем год в Ленинграде, а сейчас опять Новая Зеландия, везет зачем-то туда

бабушку), Джон Рунд, пишущий доклад «НЭП и советская литература», седьмой в своей семье (папа пережил Пирл-Харбор, воевал на Тихом океане, в Корее, тридцать лет в армии), а Натаниель Харроу – биржевый маклер из Флориды, я до сих пор о них только в книжках читал. Альберти Гонзалес, испанец, приехал сюда из Мадрида, одно время работал в Москве, в посольстве, расположившемся в ампирином, с колоннами, доме Кропоткина в двух шагах от Института Сербского. А эта маленькая черноволосая девочка – китаянка из Камбоджи, родителей ее убили в джунглях. Оказывается, только что прочитала мою «Киру Георгиевну»...

По-русски? По-русски! И все поняла! Где непонятно – есть русско-китайский словарь. А как тебя зовут? И ответила мне с веселенькими косенькими глазами девочка – зовут меня Кира... Господи, как все это интересно. И ругаю себя только, что мало их знаю. Не только этих, вообще американцев. Язык, язык! Да и не та уж бойкость, что в двадцать-тридцать лет. И организованность меньше, чем хотелось бы. А в общем, не объять, конечно, необъятного. Единственное оправдание. Но стремиться к этому надо. Потом кусать будешь локти. Как делаю это я, в прошлом архитектор, не выдавший ни Суздаля, ни Владимира, ни Пскова, ни Новгорода – всегда успею!

А вот и не успел. И до Михайловского, подумать только, до Михайловского не добрел, не дотянулся... Ловить надо!

Не прозевать, ловить! Ни дня без строчки! Ой ли... Бесстрочечный день отнюдь не измена долгу. Ох, каким обилием можно его заполнить! И книгами, и людьми. О нет, это вовсе не отдых, не отказ от главного. Ведь даже

отдыхая в «Роберте-холле», здешнем студенческом клубе и глядя на развлекающихся Джонсов, Брайанов и милостивых Дженнифер, ты все время думаешь – о, Господи, ну почему наши Вовки и Светки этого лишены – воли, свободы, раскованности? Все это надо видеть, знать, хватать, ловить на лету!

Пока есть силы, пока не пропало желание. А пропадет, это уже начало конца...

* * *

Неожиданный вышел финал. С нравоучениями, поучениями, столь не свойственными, казалось бы, мне. Вот куда завела меня, не ведая того, Виктория...

И опять параллели. Как не похожи эти два автора, один, придумавший Викторию, другой – Матрену. Но в судьбах в чем-то схожи. Обоих отвергли за предательство. Одного народ, другого власти.

Одного судили за действительную измену, другого наказали дважды – сначала за доверчивость (не прочтут, мол, цензурные девочки крамольного письма другу), потом за правду. И стал он «литературным власовцем», изгнанником. Не только из страны, из всех учебников, энциклопедий изгнали. Не было такого – и все!

Солнце зашло. Мы оседлали своего «Форда», он же «Бамбл-би» – «Шмель», на радиаторе крохотное изображение этого воспетого русским композитором насекомого, и поехали восвояси.

Проезжая мимо речки, она тут же вьется, Блэк-ривер – Черная речка (ассоциации, ассоциации!) – мы остановились, омыли ноги, посидели на камнях, и один из них, поменьше, поблескивающий какой-то слюдой, я взял себе на память. Сейчас здесь, в Вермонте, он лежит на столе, служит мне пресс-папье, а в Париже положу рядом с гамсуновским, на книжную полку...

* * *

Не успел я дописать последних строк, как зазвонил телефон. Кому я нужен? Хуже нет телефонного звонка во время работы. Звонили, оказывается, мои ленинградцы. Не поехать ли нам в следующий уикэнд в Нью-Хемпшир, соседний штат, там изумительные озера. Если удастся, вырвемся... Хорошо? Нет, не всегда телефонные звонки мешают...